

Джозеф Норт

## ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

(Из воспоминаний)

Человек один не может...  
Эрнест Хемингуэй

С печалью восприняли на Кубе весть о гибели Хемингуэя. Многие кубинцы видели в нем друга, а кубинцы верны своим друзьям — чувство дружбы у них высоко развито.

Многие читали его повесть «Старик и море», многие видели фильм. Они знают, что автор этой повести жил в поселке Сан-Франсиско, близ Гаваны, и что жил он там непрерывно с 1940 года. Кубинцам известно также — это он заявил в печати, — что он с Фиделем и с революцией и что этот странный американец со своей рыжевато-седой бородой отнюдь не человек Уолл-стрит. И на доллар он ничего не измерял.

Такая оценка кубинцев представляется мне весьма точной. Я близко познакомился с Хемингуэем в Испании, где он выступал в защиту республиканцев, и многие его корреспонденции относились к лучшим из репортажей, написанных на поле боя.

Часто мы вместе ездили на фронт, и нередко у нас вспыхивали споры, которые он порой завершал глотком виски, по-дружески хлопая меня по плечу и добродушно подшучивая по адресу коммунистов. Обычно он говаривал: «Коммунисты хороши тогда, когда они борются, но упаси меня боже от споров с ними». Он признавал только то, что мог видеть, и только это мог описывать. По моему мнению, он был едва ли не самым великим повествователем из всех тех, кто писал в одно с ним время. Коммунистов он видел в бою. Но он ничего не желал знать

о политике, о политических идеях. Подчас он иронизировал по поводу некоторых терминов, встречавшихся в коммунистической литературе. «Диалектический материализм, прибавочная стоимость, объективные и субъективные факторы, самоотчуждение человека...» — повторял он, а затем с усмешкой добавлял: «Если действительно я стал бы читать обо всем этом, что осталось бы от моего стиля».

Вся эта проблематика была ему неизвестна и, естественно, никакого влияния на его стиль не оказывала, однако я осмеливаюсь сказать, что как раз такое самоустранение ограничивало понимание им жизни и подрезало крылья его таланту. И при всем этом Хемингуэй был художником, глубоко влюбленным в жизнь. Речь не идет о том, что он мало знал ее, но огорчительно, что он отстранялся от свершавшегося вокруг него. Например, он совершенно несведущ был во всем том, что касалось промышленности. Я сомневаюсь, бывал ли он когда-нибудь на заводе, этой основе основ XX века, и все же он смог создать эпическую песнь труду — мужественному, самоотверженному труду одинокого старика в море.

Он умел описывать людей в огне сражения, хотя не всегда понимал, что именно заставляет их быть готовыми погибнуть в бою. Он не признавал, что идеи могут воодушевить человека.

«Вы и ваши проклятые прописные буквы! — однажды воскликнул он — то ли шутя, то ли всерьез — в пылу спора. — Рабочий Класс, Мир, Социальная

Справедливость, Классовая Борьба, Социализм!.. Да так оболыщали людей еще со времен Навуходоносора!»

Этот его скепсис, конечно, имел под собой почву — писатель жил в атмосфере беспредельной лжи и лицемерия того класса, который господствует на его родной земле. Многие и многие там кричат «Демократия!», хотя по сути дела им следовало бы сказать «Рабство!». Не обладая классовым чутьем, игнорируя мысль Маркса о том, что история общества — это борьба классов, он недостаточно глубоко понимал историю, не мог найти истинное истолкование стимулам, которые движут людьми в их жизни и борьбе.

И вместе с тем надо признать, что его отличала глубокая человечность, подлинный гуманизм, симпатия и любовь к простым людям — равно как ненависть ко всему фальшивому, трусливому, жадному, ничтожному. Он воздавал должное тому, как большинство мужчин и женщин встречает лицом к лицу «неизбежный трагизм» действительности, но он не мог четко определить все то, что вторгается в жизнь, что формируется общим трудом, общими трудностями, общей борьбой, общими стремлениями. Ему недоступно было понимание взаимного, добровольного и сознательного самопожертвования ради общего блага. Зато когда боксер поднимался на ринг, чтобы выступить против другого, или когда одетый в блестящий костюм тореро в напряжении замирал перед воплощением дикой силы природы — быком, чьи рога несут гибель, — тут ему все было ясно.

\* \* \*

«Все дело в том, что вы, коммунисты, — не раз говорил он мне, — хороши тогда, когда вы солдаты, но упаси меня боже от вас, когда вы беретесь за роль проповедников». Я отвечал ему, что коммунисты хороши в бою именно потому, что они являются, как он называл, «проповедниками», то есть людьми, глубоко убежденными в своих идеях, не имеющих ничего общего с религией, — в философских, научных идеях, людьми, обогащенными знанием общественных наук, которые их поднимают и просве-

щают, придают им силу. Поглядывая на меня искоса, он иронически улыбался.

А в действительности он все-таки стал уважать коммунистов, несмотря на то что их изображение в романе «По ком звонит колокол» дезориентирует читателя. Он стал их понимать лучше, как мне кажется, именно потому, что ближе познакомился с их политической деятельностью, — значительно позже, уже после Испании. Правда, в последующие годы мы не так часто встречались с Хемингуэем, однако наша дружба оставалась прежней, мы переписывались даже в самые тяжелые дни маккартизма.

Я ни разу не встречал его имени среди имен тех истеричных трусов и политических флюгеров, среди тех, кто ползал на коленях перед комиссиями конгресса или спешил излить весь свой антикоммунистический яд, — а ведь нельзя забывать о том, что на него оказывалось весьма большое давление с целью заставить поступать таким же образом.

Зато я видел в газетах его полные энтузиазма заявления относительно Фиделя Кастро и новой Кубы. Я читал его повесть «Старик и море» и никогда не забуду образ неукротимого старого кубинца, у которого акулы сожрали с таким трудом пойманную рыбу, но чей дух не был сломлен.

Бесспорно, изображая этого бесстрашного рыбака, он думал о Кубе.

Я уверен, что его иносказание — нечто большее, чем мистическая философия жизни и смерти, «неотвратимости судьбы человека». Конечно «Притча об акуле и сардинах» Хуана Хосе Аревало \* — книга с более ясной символикой, но Хемингуэй, насколько я помню, никогда не выводил образ героя-капиталиста. Я не разделяю философию его книги, согласно которой человек рождается для поражения, однако я с признательностью отношусь к тому, как он прославляет мужество и человека, обладающего таким мужеством. Это мужество «простых людей».

Какой бы ни была физическая боль, испытанная им, каким бы ни было со-

\* В этой книге бывший президент Гватемалы, писатель и философ д-р Хуан Хосе Аревало пишет об отношениях между странами Латинской Америки и США. (Прим. ред.)

стояние его разума в момент гибели, Хемингуэй — на протяжении всех лет до наступления «часа истины» — должно быть, уже представлял себе, как он, словно бесстрашный матадор, будет смело смотреть в глаза Бледному быку смерти. И вот раздался выстрел в голову: он, любивший бурю и бой, не умирал беспомощно под рогами, разрывающими его внутренности.

Но я думаю, что во всем этом главную роль сыграло другое.

Он прожил достаточно много, чтобы ощущать отравленные стрелы критиков. И все же, хотя он всегда утверждал, что слава ему безразлична, думаю, что он не был к ней вовсе равнодушен. В последние годы у него заметно обострилась склонность к иронии по отношению к самому себе, и эта черта теперь обернулась против него, как некогда ему благоприятствовала. Он не достиг такого положения, как другой выдающийся деятель американской литературы — Дин Хауэллс (его любил и уважал Толстой), который дождался до того, что от своих же соотечественников слышал: «Хауэллс? А кто это?» Хауэллсу, умершему с верой в социализм, довелось прочесть пренебрежительный комментарий Г. Л. Менкена, заявившего, что он, Хауэллс, был допотопным романистом, апеллировавшим только к «сентиментальным белошвейкам». Менкен, создавший издевательский образ воинствующего мещанства («booboisie»), бросил его в один мешок с бэббитами и «ротари-клуб».

Нет, Хемингуэй до этого не дожил, однако критики уже вылезали на охоту за его скальпом, оспаривая его место в истории культуры Соединенных Штатов и всего мира. Они пытались кроить его по своей мерке, хотя и не доросли даже до его груди, о волосах на которой они столько писали.

Я считаю, что Хемингуэй был писателем-гигантом своего времени, и многое из того, что он создал, нашло отзвук в Соединенных Штатах. Немногие американские писатели могут сравниться с ним талантом или неистребимой жаждой жизни. Помнится, как однажды он мне сказал, что бросил курить, потому что табак притупляет обоняние, а это чувство является первейшим у животных и

у людей, и раз табачный дым мешает ощутить аромат фиалки, то к черту «честерфильды»! Да, он всеми пятью чувствами впитывал в себя жизнь — этот подлинный художник большого сердца и большого ума.

И думается, ошибаются те, кто не видит в нем большого гуманиста. Именно настоящий гуманизм позволил ему создать образ старого рыбака.

Большинство американских критиков, говоря о нем, пишет о его ошибках. Большинство критиков твердит, что его самая слабая книга — «Иметь и не иметь». А по-моему, как раз в этом произведении он ближе всего подошел к пониманию человека как социального существа.

«Человек один не может...» — говорит его герой, умирая. А большинство американских критиков ныне отвергают эту идею, хотя именно в ней — суть этой книги.

Она была написана в годы, когда он был свидетелем искусственно организованного голода в самой богатой стране мира, во времена безработицы, вызванной железными законами капитализма. Прямо так об этом он не писал, но несомненно стремился в этом разобраться.

Мне думается, что антихемингуэевские тенденции в критике порождаются в основном ошибочными суждениями. Он никогда не восхвалял войну, хотя и адресовался к героям войны. Война — грязь, смрад, руины, бойня, безрассудная смерть, но поле боя — это также место, где герои храбро встречают смерть.

Я не помню, чтобы в его выступлениях содержались нападки на Советский Союз. Зато я читал, что он поднимал тосты вместе с Микояном, когда советский лидер был здесь.

Я никогда не видел его в свите Даллеса. Никогда он не выступал за возобновление атомных испытаний. И червей он не называл героями. Зато я уверен, что с глубокой горечью он воспринимал то, что происходит на нашей родине, в Соединенных Штатах. Он жил за пределами своей страны. Я знаю, что он любил Кубу и кубинцев — об этом он писал и об этом мне говорил. Мы встретились как-то в 1940 году здесь, в баре «Флорида», я спорил с ним по поводу некоторых аспектов его романа «По ком звонит ко-

локол». Однако наши разногласия не повредили нашей дружбы. Он был достаточно мужествен, чтобы воспринять критику, если считал, что она искренняя. Он мне говорил, что, по его мнению, советские критики — и особенно Илья Эренбург — понимают то, что он делает. А также советский критик Кашкин. Очевидно, прежде всего они видят в нем гуманиста, выдающегося представителя американской литературы.

Больше всего мне запомнился день Первого мая 1938 года в Испании, когда мы с ним в машине возвращались по горной дороге с линии фронта. Перед нами спускалась другая машина, битком набитая молодыми республиканцами — юношами и девушками, многие из них были одеты в форму, все они пели. Внезапно их грузовик резко завернул и опрокинулся, и мы увидели трагическую сцену: на земле лежали — одни уже мертвые, другие умирающие — те, кто только пел революционные песни.

Он выскочил из машины и с аптечкой первой помощи, которая была с ним, бросился перевязывать раненых. Вскоре он был весь в крови. Я помогал ему. Корреспондент «Нью-Йорк таймс», находившийся в нашей машине, предпочел остаться верным девизу газеты — «Все новости, заслуживающие опубликования...» Ведь прежде всего — он предста-

витель «Таймс»! С бумагой и карандашом в руках он наклонился над умирающими, выпрашивая у них имена и адреса. Подняв глаза и увидев эту сцену, Хемингуэй закричал во весь голос: «Прочь отсюда, сукин сын, или я тебя убью!»

Этот случай, по-моему, до какой-то степени позволяет нам почувствовать человечность Хемингуэя. А ведь он тоже писал для «Нью-Йорк таймс», позднее, и тот тип писал для «Нью-Йорк таймс», однако какая пропасть между ними, глубокая, будто ад. Хемингуэй был гуманистом, и что бы он ни делал, во всем проявлялся этот гуманизм. Мне помнятся его слезы, когда он, нежно поддерживая умиравшего юношу, перевязывал ему раны. Мне думается, что именно человечностью пронизаны его произведения.

Быть может, он не мог быть таким для кого-нибудь другого, но таким он был для многих людей моего поколения.

Конечно, о Хемингуэе нужно сказать больше, и потом я сделаю это. Кое-что я писал в главе, посвященной Хемингуэю, в моей книге «Нет чужих среди людей». Мне кажется, что я был прав.

А сейчас мне остается сказать лишь одно: Куба потеряла друга, литература — большого писателя, а человечество — человека.

*Гавана, июль 1961.*